

I
ДО ВОЙНЫ

НАЗАД К СЧАСТЬЮ

Когда началось разрушение Израиля, Исаак Блох выбирал между самоубийством и переездом в Еврейский дом. Он жил в квартире с книжными стеллажами до потолка и коврами, в ворсе которых могли без следа утонуть игральные кости; затем в квартирке-полупортке с грязным полом; в лесных хорах под равнодушными звездами; в погребке у христианина, для которого через три четверти века на другом конце света выросло дерево, увековечившее его праведность; а затем жил в норе, причем столько дней, что колени у него потом так и не разогнулись до конца; жил среди цыган, партизан и почти благочинных поляков; в лагерях для беженцев, мигрантов и перемещенных лиц; на корабле, где имелась бутылка с кораблем, который один страдавший бессонницей агностик чудесным образом внутри ее построил; на другом берегу океана, которого так и не переплыл до конца; над полудюжиной бакалейных лавок, на устройстве и продаже которых за малую цену гробил здоровье; рядом с женщиной, что без конца перепроверяла замки, пока не изломала их все, и умерла, состарившись, в сорок два без единого звука благодарности, но с клетками убитой матери, все еще делившимися в ее мозгу; и наконец, последние четверть столетия в тихом, заметенном снегом домике в Сильвер-Спринг: десятифунтовый Роман Вишняк, выцветающий на кофейном столике; «Враги. История любви» — кассета, размагничивающаяся в последнем исправном видеоманитофоне планеты; яичный салат, становящийся птичьим гриппом в холодильнике, залепленном, как мумия, фотографиями чудесных, гениальных, не страдающих от опухолей правнуков.

Немецкие садоводы подрезали семейное дерево Исаака до самой галицийской почвы. Но интуиция и удача без всякой помощи сверху помогли ему укорениться на тротуарах города Вашингтона, округ Колумбия, и увидеть, как дерево снова вытя-

нется и раскинет ветви. И если Америка не обернется против евреев — пока не обернется, поправил бы его сын Ирв, — это дерево будет ветвиться и будет давать отростки. К тому времени Исаак, разумеется, опять будет в норе. И пусть он так и не разогнет колен, и пусть никто не знает точно, сколько ему лет и насколько приблизились неведомые новые унижения, пришла пора разжать свои еврейские кулаки и признать начало конца. Признание от принятия отличает депрессия.

Даже не говоря о гибели Израиля, момент был вовсе неудачный: какие-то недели до бар-мицвы его старшего правнука, что Исаак считал чем-то вроде финишной линии собственной жизни с тех пор, как пересек предыдущую финишную линию — рождение младшего правнука. Но не ведаешь, когда старая еврейская душа освободит твое тело, а тело освободит лакомую однушку для следующего тела из списка очередников. Но годы не поторопишь и не удержишь. Опять же, покупка дюжины невозвратных авиабилетов, бронирование целого крыла в вашигтонском «Хилтоне» и внесение двадцати трех тысяч долларов депозита на бар-мицву, вписанную в календарь, еще когда шли последние зимние Олимпийские игры, не гарантируют, что все это произойдет.

По коридорам «Адас Исраэль» протопал табун пацанов, смеющихся, пихающихся; их кровь так и носилась от формирующихся мозгов к формирующимся гениталиям, а потом обратно, в антагонистической игре полового созревания.

— Ну серьезно, — сказал один, теряя «З», зацепившееся за небный расширитель, — с минетом одно только хорошо, что заодно подрочат тебе не всухую.

— Аминь.

— А иначе ты просто пихаешь в стакан воды с зубами.

— Что бессмысленно, — согласился рыжий паренек, у которого мурашки бежали от одной мысли об эпилоге «Гарри Поттера и Даров Смерти».

— Нигилистично.

Если бы Бог был и судил, Он простил бы этим шалопахам все, зная, что их обуревают стихии, и внешние, и внутренние, ведь и они по Его подобию.

Мальчишки примолкли, замедлив ход у питьевого фонтанчика, чтобы попятиться на Марго Вассерман. Говорили, что ее родители паркуют две тачки рядом со своим гаражом на три места, поскольку всего машин у них пять. Говорили, что ее карликовому шпицу не отрезали яйца и они здоровые, как дыньки.

— *Черт*, хотел бы я быть этим фонтанчиком, — сказал мальй с еврейским именем Перец-Ицхак.

— А я бы лоскутком, который вырезали из ее трусов с окошком.

— А я бы хотел накачать член ртутью.

Пауза.

— Это че еще за херня?

— Ну, — пояснил Марти Коэн-Розенбаум, урожденный Хаим бен Кальман, — типа... чтобы он стал как градусник.

— Суши его подкормишь?

— Да просто накачать бы. Да хоть как. Чуваки, вы же поняли зачем.

Четыре синхронных кивка, как у зрителей в настольном теннисе.

Шепотом:

— *Засунуть ей в задницу.*

Остальным повезло иметь матерей из двадцать первого века, которые знали, что температуру можно измерить электронным градусником в ухе. А Хаиму повезло, что внимание его товарищей что-то отвлекло и они не успели припечатать его прозвищем, от которого он нипочем бы не избавился.

Сэм сидел на скамье у кабинета рава Зингера, голова опущена, взгляд на раскрытые ладони, сложенные на коленях, как у монаха, изготовившегося идти на костер. Мальчишки оставались, и их отвращение к себе обратилось на него.

— Мы слышали, что ты написал, — начал один, ткнув в Сэма пальцем. — Это уже не шуточки.

— Поднасрал, брат.

Выходило странно, потому что обычно непомерное потоотделение у Сэма начиналось не раньше, чем угроза минует.

«Я это не писал, и я тебе не... — кавычки пальцами, — *брат*».

Он мог бы так сказать, но не стал. И мог бы объяснить, почему все было не так, как все думают. Но не стал. Вместо этого

просто стерпел, как всегда поступал в жизни по херовую сторону экрана.

По другую сторону двери рава, по другую сторону стола от рава сидели родители Сэма — Джейкоб и Джулия. Им совсем не хотелось там быть. И остальным не хотелось. Все там были против желания. Раву нужно было измыслить какие-то глубокомысленно звучащие слова о некоем Ральфе Кремберге, которого в два часа предадут земле. Джейкоб предпочел бы работать над своей библией для «Вымирающего народа», или обшаривать дом в поисках пропавшего телефона, или, на худой конец, полазить по интернету, вызывая прилив дофамина. И еще сегодня Джулия собиралась взять выходной, вышло все наоборот.

— Разве Сэм не должен быть здесь? — спросил Джейкоб.

— Думаю, лучше, если сначала поговорят взрослые, — ответил рав Зингер.

— Сэм взрослый.

— Сэм *не* взрослый, — сказала Джулия.

— Оттого что трех стихов не доучил в благословении после благословения после гафтара?¹

Не обращая на Джейкоба внимания, Джулия положила ладонь на стол рава и сказала:

— Разумеется, пререкаться с учителем недопустимо, и нам нужно найти способ как-то все уладить.

— В то же время, — сказал Джейкоб, — может быть, отстранение — чересчур жесткая мера за не *такой* уж, по большому счету, серьезный проступок?

— Джейкоб...

— Что?

Стараясь что-то сказать мужу, но не раву, Джулия прижала два пальца ко лбу и слегка качнула головой, раздув ноздри. Сейчас она больше походила на тренера третьей базы, чем на жену, мать и члена общины, пытающуюся отвести океан от песочного замка ее сына.

¹ Гафта́ра (*ивр.*) — отрывок из Книги пророков, который в некоторых иудейских общинах читает посвящаемый во время мицвы (*Здесь и далее прим. пер.*)

— «Адас Исраэль» — прогрессивная школа, — сказал рав, на что Джейкоб отреагировал закатыванием глаз, равно задумчивым и брезгливым.

— У нас долгая и славная традиция видеть дальше культурных норм, господствующих сегодня или вчера, находить божественный свет, Ор Эйн Соф, в каждом ребенке. Расовые оскорбления для нас серьезный проступок, без сомнения.

— *Что?* — переспросила Джулия, выпрямившись.

— Этого не может быть, — сказал Джейкоб.

Рав испустил долгий раввинский вздох и по столу подвинул Джулии листок бумаги.

— Он это *сказал*? — спросила Джулия.

— Написал.

— *Что* написал? — спросил Джейкоб.

Недоверчиво качая головой, Джулия ровным голосом прочла:

— Вшивый араб, китаеза, манда, япошка, педик, мекс, жид, слово на «н».

— Он написал «слово на „н”»? — вмешался Джейкоб. — Или само слово на «н»?

— Само слово, — ответил рав.

Хотя Джейкоба должны были занимать неприятности сына, его развлекло то обстоятельство, что только одно это слово не может быть произнесено.

— Тут, видимо, какое-то недоразумение, — проговорила Джулия, передавая наконец листок. — Сэм нянчится с животными до...

— *Цинциннатский галстук?* Это не расовое оскорбление. Это форма секса. По-моему. Кажется.

— Тут не только оскорбления, — пояснил рав.

— Знаете, я почти уверен, что и «вшивый араб» — это тоже форма секса.

— Мне остается только поверить вам на слово.

— Я к тому, что, может, мы вообще не так поняли этот список.

Вновь не слушая мужа, Джулия спросила:

— А что об этом говорит Сэм?

Рав запустил пальцы в бороду, выискивая слова, будто макака, выискивающая вшей.

— Он не признается. Категорически. Но до урока этих слов там не было, а за этим столом сидит только он.

— Это не Сэм, — сказал Джейкоб.

— Его почерк, — заметила Джулия.

— В тринадцать у всех мальчишек почерк одинаковый.

— Он не смог объяснить, как там оказался листок, — сказал рав.

— Он и не обязан, — заметил Джейкоб. — И кстати, если Сэм написал эти слова, то чего ради он оставил листок на столе? Дерзость доказывает его невиновность. Как в «Основном инстинкте».

— Но в «Основном инстинкте» она же и убила, — вступила Джулия.

— Она?

— Ножом для колки льда.

— Наверное, так. Но это кино. Ясно, все подстроил какой-то ученик, настоящий расист, затаивший злобу на Сэма.

Джулия обратилась к раву:

— Мы все сделаем, чтобы Сэм понял, почему его записка так оскорбительна.

— Джулия, — вступил Джейкоб.

— Достаточно ли будет извиниться перед учителем, чтобы не отменять бар-мицву?

— Именно это я собирался предложить. Только, боюсь, слухи об этой записке уже прошли в нашей общине. Так что...

Джейкоб громко и с огорчением выдохнул — привычка, которую либо он передал Сэму, либо сам перенял у него.

— И кстати, оскорбительна для *кого*? Огромная разница — разбить кому-то нос или боксировать с тенью.

Рав посмотрел на Джейкоба.

— У Сэма были какие-нибудь проблемы дома? — спросил он.

— Его перегружают домашними заданиями, — начала Джулия.

— Он этого *не* делал.

— И он стал готовиться к бар-мицве, а это, по крайней мере в теории, еще час каждый вечер. И виолончель, и футбол. А у его младшего брата Макса сейчас возрастной кризис, и это для всех испытание. А самый младший, Бенджи...

— Похоже, у него куча забот, — подытожил рав. — Тут я ему безусловно сочувствую. Мы много требуем от детей. Столько никогда не требовали от нас. Но боюсь, расизму у нас места нет.

— Конечно, — согласилась Джулия.

— Секунду. Теперь вы называете Сэма расистом?

— Я этого не сказал, мистер Блох.

— *Сказали. Только что. Джулия...*

— Я не помню точных слов.

— Я сказал: «Расизму нет места».

— Расизм — это то, что исповедуют расисты.

— Вы когда-нибудь лгали, мистер Блох?

Джейкоб инстинктивно еще раз пошарил в кармане пиджака в поисках пропавшего телефона.

— Полагаю, что, как любому живому человеку, вам пришлось говорить неправду. Но это не делает вас лжецом.

— Вы меня называете лжецом? — Джейкоб оплел пальцами пустоту.

— Вы боксируете с тенью, мистер Блох.

Джейкоб посмотрел на Джулию.

— Да, слово на «н», конечно, гадкое. Скверное, ужасное. Но оно ведь там одно из многих.

— По-вашему, в общем контексте мизогинии, гомофобии и извращений оно выглядит *лучше*?

— Только он *этого не писал*.

Рав поерзал на стуле.

— Если позволите, я скажу начистоту. — Он помолчал, помял большим пальцем ноздрю, как бы тут же отступаясь. — Сэму явно нелегко — быть внуком Ирвина Блоха.

Джулия откинулась на спинку стула, думая о песочных замках и синтоистских воротах, которые вынесло на берег в Орегоне через два года после цунами.

Джейкоб обернулся к раву:

— Простите?

— Как ролевая модель для ребенка...

— Это отличная модель.

Рав продолжил, обращаясь к Джулии:

— Вы, должно быть, понимаете, о чем я.

— Я понимаю.

- Мы не понимаем, о чем вы.
- Пожалуй, если Сэму не кажется, что любые слова, как их ни...
- Вы читали Роберта Каро — второй том биографии Линдона Джонсона?
- Не читал.
- Что ж, если бы вы были равом светского толка и читали эту классику жанра, вы бы знали, что страницы с 432 по 435 посвящены тому, что Ирвин Блох больше, чем кто-либо в Вашингтоне, да и вообще *где бы то ни было*, сделал для того, чтобы Закон об избирательных правах прошел в конгрессе. Мальчику не найти лучшей ролевой модели.
- Мальчику и не надо искать, — сказала Джулия, глядя прямо на рава.
- Что ж... мой отец писал в блоге такое, за что его можно упрекнуть? Да. Писал. Досадное. И жалел потом. Представьте себе огромный шведский стол сожалений. Но чтобы вам заявлять, будто его добродетельность никак не может быть примером для его внуков...
- Со всем уважением, мистер Блох...
- Джейкоб обернулся к Джулии:
- Пойдем отсюда.
- Давай лучше сделаем то, что нужно Сэму.
- Сэму здесь ничего не нужно. Напрасно мы заставили его праздновать бар-мицву.
- Что? Джейкоб, мы его не заставляли. Может, слегка подтолкнули, но...
- Подтолкнули, когда обрезали. С бар-мицвой просто заставили.
- Последние два года твой дед только и говорит, что единственное, ради чего он еще живет, — увидеть бар-мицву Сэма.
- Значит, она тем более не нужна.
- И мы же хотим, чтобы Сэм знал, что он еврей.
- А у него был какой-то шанс этого не знать?
- Чтобы он *был* евреем.
- Евреем, да. Но *религиозным*?
- Джейкоб никогда не понимал, как ответить на вопрос, религиозен ли ты. Он никогда не жил вне синагоги, никогда не

обходился без попыток соблюдения кашрута, никогда не допускал — даже в моменты величайшей досады на Израиль, отца, американское еврейство или отсутствие Бога, — что будет воспитывать детей без какого-то знакомства с еврейскими традициями и обрядами. Но двойное отрицание не религия. Или, как скажет брат Сэма Макс на своей бар-мицве тремя годами позже, «Сбережешь только то, что отказываешься отпустить». И как бы Джейкоб ни ценил преемственность (истории, культуры, мыслей и ценностей), как бы ни хотел верить, что есть какой-то глубокий смысл, доступный не только ему, но и его детям, и их детям тоже, — свет пробивался у него между пальцами.

Когда Джейкоб и Джулия только начали встречаться, они часто говорили о «религии для двоих». Если бы она не облагораживала, то ее следовало бы стыдиться. Их Шаббат: каждую пятницу вечером Джейкоб читал вслух письмо, которое всю неделю писал Джулии, а она наизусть декламировала стихи; затем, убрав верхний свет, отключив телефон, сунув наручные часы под подушку красного вельветового кресла, они не спеша съедали ужин, который приготовили вместе, наполняли ванну и любили друг друга, пока поднималась вода. Рассветные прогулки по средам, невзначай превращенные в ритуал, маршрут, прокладываемый раз за разом из недели в неделю, пока на тротуаре не протаптывалась дорожка, — неощутимая, но явная. Празднуя Новый год — Рош-ха-Шана, — вместо похода в синагогу они всегда проводили обряд ташлих: бросали хлебные крошки — символ сожалений уходящего года — в Потомак. Иные тонули, иные течение уносило к другим берегам, а часть сожалений подхватывали чайки, чтобы накормить ими своих еще слепых птенцов. Каждое утро, прежде чем встать с кровати, Джейкоб целовал Джулию между ног — без вождения (обычай требовал, чтобы этот поцелуй ничего за собой не влек), но с благоговением. Они начали собирать в поездках предметы, которые, как кажется, внутри больше, чем снаружи: океан, заключенный в раковине, испечатанная лента пишущей машинки, мир в зеркале из посеребренного стекла. Все как будто превращалось в ритуал — появление Джейкоба, каждый четверг забиравшего Джулию с работы, утренний кофе в обо-

юдном молчании, сюрпризы Джулии, заменявшей закладки Джейкоба в книгах записочками, — пока, словно Вселенная, расширившаяся до последних пределов и схлопнувшаяся в исходное состояние, все не рассыпалось.

Иные пятничные вечера выходили слишком поздними, а утренние часы сред слишком ранними. После трудных разговоров не бывало поцелуев между ног, а когда в тебе нет великодушия, многое ли покажется больше, чем на первый взгляд? (А обиду на полку не положишь.) Они держались за то, что могли удержать, и старались не признавать, какими приземленными стали. Но то и дело, обычно в моменты самозащиты, которая, несмотря на все мольбы всех лучших ангелов, просто не могла не принять форму обвинения, кто-нибудь из них говорил: «Мне не хватает наших Шаббатов».

Рождение Сэма как будто давало новый шанс, как и появление на свет Макса и Бенджи. Религия для троих, четверых, пятерых. Они церемониально отмечали рост детей на дверном косяке в первый день нового года — иудейского и светского — неизменно с самого утра, пока сила земного тяготения не внесла свои коррективы. Каждое 31 декабря бросали в огонь бумажки с обещаниями, по вторникам после обеда всей семьей выгуливали Аргуса и читали школьные табели по дороге в «Ваче» на запрещенные во всех иных случаях аранчиаты и лимонаты. В строгом порядке происходило укладывание в постель, по сложному протоколу, а на дни рождения все спали в одной кровати. Они, бывало, блюли Шаббат — равно и в смысле его соблюдения, и в смысле свидетельства собственной религиозности — с халой из «Здоровой пищи», кедемовским виноградным соком и конусами из воска оказавшихся на грани исчезновения видов пчел в серебряных подсвечниках исчезнувших предков. Между благословением и едой Джейкоб и Джулия подходили к каждому сыну и, охватив его голову ладонями, шептали на ухо, за что они им гордились на этой неделе. От такой полной интимности — запускать пальцы в волосы, от любви, что не была тайной, но говорить о которой полагалось лишь шепотом, дрожали нити накаливания в померкших лампах.

После обеда исполняли обряд, происхождение которого никто не мог вспомнить, но смысл никогда не подвергался со-

мнению: ходить по дому с закрытыми глазами. Было здорово болтать, дурачиться, смеяться, но в этой слепоте они всегда замолкали. Раз за разом у них выработывалась привычка к беззвучной темноте, и они могли не открывать глаз сначала десять минут, а потом и двадцать. Они встречались вновь у кухонного стола и там одновременно открывали глаза. И каждый раз это было как откровение. Как два откровения: чуждость дома, в котором дети жили от рождения, и чужеродность зрения.

В один из Шаббатов, по дороге в гости к прадеду, Исааку, Джейкоб сказал:

— Человек напился на празднике и по дороге домой на смерть сбил ребенка. Другой напился так же, но добрался домой без происшествий. Почему первый до конца своих дней будет сидеть в тюрьме, а второй наутро проснется как ни в чем не бывало?

— Потому что тот на смерть сбил ребенка.

— Но с точки зрения того, что они сделали неправильно, они виноваты одинаково.

— Но второй ребенка не сбил.

— Однако не потому, что не виноват, а просто ему повезло.

— И все равно, первый-то сбил.

— Но если рассуждать о вине, то не надо ли учитывать кроме результата еще действия и умысел?

— А что за праздник это был?

— Что?

— Да, и что тот ребенок делал на улице так поздно?

— По-моему, дело не в...

— Родители должны были за ним следить. Их надо посадить в тюрьму. Наверное, тогда у него не было бы родителей. Если только он не жил с ними в тюрьме.

— Ты забыл, что он уже мертв.

— А, точно.

Сэма и Макса идея умысла захватила. Как-то раз Макс вбежал на кухню, держась за живот.

— Я его стукнул, — объявил Сэм из гостиной, — но не нарочно.

Или когда в отместку Макс наступил на почти достроенный из лего домик Сэма и заявил:

— Я не нарочно. Я хотел наступить только на ковер под ним. Брокколи скармливалась Аргусу под столом «нечаянно». К контрольным не готовились «специально». Макс, первый раз сказав Джейкобу «Заткнись!» в ответ на несвоевременное замечание о том, что пора бы отдохнуть от реинкарнации тетриса, когда Макс вот-вот должен был войти в десятку лучших результатов дня, хотя вообще-то ему не разрешалось в нее играть, положил смартфон Джейкоба, метнулся к нему, обнял и, с глазами в слезной глазури, повинулся: «Я не хотел».

Когда Сэму пальцы на левой руке разможило тяжелой стальной дверью и он кричал: «Зачем это?» снова и снова, а Джулия, прижав его к себе, так что кровь струилась по ее блузке, как некогда на крик младенца грудное молоко, просто сказала: «Я тебя люблю, я с тобой», а Джейкоб добавил: «Едем в неотложку», Сэм, боявшийся врачей больше любой болячки, какую только эти врачи лечат, взмолился: «Нет! Не едем! Я это нарочно!»

Время прошло, мир проступил яснее, и Джейкоб с Джулией стали забывать о том, чтобы делать что-то нарочно. Они не отказывались пускать все на самотек, и вслед за новогодними обещаниями и вторичными прогулками, звонками на дни рождения израильским кузенам и тремя переполненными мешками с еврейскими деликатесами, привозимыми в первое воскресенье каждого месяца прадедушке Исааку, прогуливанием школы ради первого в сезоне домашнего матча «Нэтс» и распеванием «Поющих под дождем» во время проезда на «Гиене Эде» сквозь автомойку, дневниками благодарностей и «проверкой ушей», ежегодным сбором и резьбой тыкв с поджариванием семян шепот со словами гордости тоже ушел.

Жизнь внутри стала меньше, чем снаружи, образовалась полость, каверна. И потому бар-мицва была так важна: она стала последней нитью в перетершейся привязи. Отмена ее, как отчаянно хотелось Сэму и как теперь предлагал вопреки собственному желанию Джейкоб, не только Сэма, но и всю семью вытолкнула бы в пустоту: кислорода более чем хватило бы для поддержания жизни, но какой жизни?

Джулия повернулась к раву:

— Если Сэм извинится...

- За что? — спросил Джейкоб.
- Если он извинится...
- Перед кем?
- Перед всеми, — ответил рав.
- Перед всеми? Всеми живущими и умершими?

Джейкоб составил эту формулу — *всеми живущими и умершими* — не в свете всего того, чему предстояло произойти, а в крошечной темноте мгновения: это было прежде, чем из Стены Плача цветами взойшли свернутые мольбы, прежде японского кризиса, десяти тысяч пропавших детей и Марша миллионов, прежде, чем имя Адия стало самым часто запрашиваемым в истории интернета. Прежде опустошительных афтершоков, прежде союза девяти армий и раздачи йода в таблетках, прежде, чем Америка никуда не послала «F-16», прежде, чем Мессия оказался слишком занят или слишком бессущностен, чтобы разбудить живых или мертвых. Сэм становился мужчиной. Исаак раздумывал, наложить на себя руки или переехать из дома в казенный дом.

— Мы хотим покончить с этой историей, — сказала Джулия раву. — И мы хотим поступить верно, и чтобы бар-мицва состоялась, как запланировано.

— Извинившись за все перед всеми?

— Мы хотим, чтобы снова все были счастливы.

Джейкоб и Джулия молча отметили надежду, и печаль, и странность, прозвучавшие в этом слове, и оно рассеялось по комнате и осело на стопки богословских книг и запятнанный ковер. Они сбились с пути, потеряли ориентир, но не утратили веры, что все можно вернуть, — даже если ни один из них не понимал вполне, о каком счастье она говорит.

Рав сплел пальцы, точно как подобает раву, и сказал:

— Есть хасидская поговорка: «В погоне за счастьем мы бежим от довольства».

Джейкоб встал, сложил листок, сунул в карман и объявил:

— Вы не на того думаете.

ВОТ НЕ Я

Пока Сэм дожидался на скамейке у кабинета рава Зингера, Саманта подошла к биме. Биму Сэм соорудил из цифрового старого вяза, поднятого со дна цифрового озера, которое он вырыл и где затопил небольшой лес год назад, когда, подобно одному из тех несчастных псов на полу, по которому пущено злое напряжение, узнал, что такое беспомощность.

— Не имеет значения, хочешь ты или нет проходить бар-мицу, — сказал тогда его отец, — но попробуй отнестись к этому, как к чему-то воодушевляющему.

Но в конце концов, почему его так захватила тема жестокости к животным? Почему так неодолимо тянули видео, которые, он знал, лишь укрепят его мнение о человечестве? Пропасть времени он тратил на свидетельства насилия: жестокость к животным, а также схватки животных (как устроенные людьми, так и в естественной среде), нападения животных на людей, тореадоры, получающие, что заслужили, скейтбордисты, тоже получающие свое, колени спортсменов, стигающиеся не в ту сторону, драки бомжей, обезглавливание вертолетным винтом, и более того: несчастные случаи с мусоровозами, лоботомия автомобильной антенной, мирные жители — жертвы химического оружия, травмы при мастурбации, головы шиитов, насаженные на колья суннитских заборов, запоротые хирургические операции, обваренные паром, обучающие ролики о том, как отсекают сомнительные части тела погибших на дороге животных (как будто бывают и не сомнительные), видеоинструкции по самоубийству без боли (как будто невозможность этого не таится в самом слове), и еще, и еще, всякое и всякое. Образы были как острые предметы, которыми он колот в себя: столько всего внутри требовало выхода наружу, что никак не обойтись без ран.

В молчании по пути домой он изучал молитвенный зал, который построил вокруг бимы: невесомые двухтонные скамьи